

Смерть — безгранична. С этим примириться

Ещё черёд настанет...

Нина Гейде

В книгу «Новые имена в поэзии» (М.: Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, 2011) вошли подборки 23 молодых поэтов, родившихся с 1973 по 1989 годы. Почти у каждого из них смерть — один из центральных образов, который нередко становится частью заголовка: «Как шагает музыка по трупам...» и «Тонет смерть в полусладком вине...» (Игорь Белов из Калининграда), «Ушла под утро тихо, в забытии...» (Наталия Елизарова из Каширы), «Умирая тысячу и одну ночь» и «Видеть сны, не умирать...» (Владимир Зуев из Екатеринбурга), «Дымный отблеск ада, на местах...» (Евгений Коновалов из Ярославля), «Смерть-медсестра» (Борис Кутенков из Москвы), «Осенью мысли рождаются в смерти...» (Татьяна Перцева из Хельсинки), «Почему не умрём? Умрём» (Екатерина Соколова из Сыктывкара), «Наверное, Бог похож на умирающего человека» (Айгерим Тажи из Алматы). Вспоминаются стихи близких им по возрасту

Нины Гейде из Копенгагена: *«Поединок с любовью, когда уже нету границ/ Между светом и тьмой, между счастьем и посвистом смерти...»* и Григория Аросева из Москвы, автора рассказа *«Смерть в Красноводске»*: *«На вокзал приду, сяду в электричку,/ она тонко свистнет и в смерть умчит»*.

В сборнике стихов объёмом 220 страниц слово «смерть» упомянуто 33 раза, глагол «умирать» — 28 раз. Молодые поэты нередко говорят о смерти не впрямую — предлагая читателям различные иносказательные описания драматического ухода человека в мир иной. *«Души, шагнувшие в ночь/ С дьявольского моста»*, — пишет о самоубийцах, бросившихся с Карлового моста в Праге, Наталия Елизарова, *«На дне противотанковых траншей/ мне будет безразлична скорость пули,/ и бесконечность лжи, когда застыну,/ лапшу червей пуская из ушей»*, — это поэтический монолог немецкого солдата, погибшего во время Второй мировой, написанный Дмитрием Румянцевым из Омска. А вот как натуралистично изображает будущую смерть нерадивого отрока, читающего псалом, Дмитрий Смагин из Смоленска: *«Будет от страха остаток дней колотить:/ оборвётся сосуда сердешного нить —/ ангелы тело напрасно перетряхнут»*.

Что это? Мода? Спекуляция на чувствах читателей? Думаю, нет. Скорее, речь идёт о трагедии поколения, о глобальном обесценивании человеческой жизни в России, о перенасыщенном неестественными смертями мире, в котором мы живём. Молодые поэты, как чуткие сейсмографы, улавливают опасность, о которой погружённый в бытовые заботы гражданин старается не думать.

Статистика сообщает шокирующие цифры: за последние пять лет (2007 — 2012) покончили с собой 14123 подростка, в 2008 году жертвами насилия стали 126 тысяч детей, погибли 1914 ребят, 12,5 тысяч детей находятся в розыске;

оказались в детских домах, приютах и интернатах 800 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из них, как правило, во взрослой жизни выживает только треть, остальные оказываются жертвами криминального мира и собственной наивности). В 2009 году в России покончили с собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 лет.

Молодые поэты призваны высказаться от имени поколения, которому пришлось жить в драматическое время, когда одна историческая формация рушилась и на её место приходила другая. Его можно сравнить только с историческим разломом 1917–1920-х годов, которое мудрая Зинаида Гиппиус назвала *«щелью времени»*, волнуясь, что в эту историческую щель провалится все её поколение. Не об этом ли небольшое стихотворение Владимира Зюева из Екатеринбурга: *«я знал его... и этого... и эту.../ а с этим мы дежурили по классу,/ смотрели с ним “Иглу”, смотрели “Ассу”.../ их нет, как нет... как не было, и нету.../ повесился... разбился на машине.../ поймала передоз... сгорел по пьяни.../ я вязну между ними в паутине...»*

В XX веке философы (Андре Бергсон, Мартин Хайдеггер, Жиль Делёз), рассуждая о жизни и смерти, отделяли интенсивное человеческое время от экстенсивного хронологического времени истории планеты и Вселенной. К примеру, 26 лет жизни Лермонтова и 37 Пушкина несоизмеримо богаче событиями, чем столетия мировой истории. Преодолеть забвение можно только путём творчества. И литературные чтения *«Они ушли. Они остались»*, посвящённые молодым поэтам, умершим молодыми в 90-е — 2000-е годы, уже два раза проходившие в московских библиотеках и музеях, — лишнее тому доказательство.

Рассуждая о смерти во 2 послании коринфянам, апостол Павел заметил: *«...кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке*

вечную славу...» (2-е Кор. 4:17). Над темой смерти начали всерьёз задумываться европейские гуманисты — Эразм Роттердамский в Германии, Цельтис — в Польше, вслед за ними восточнославянские поэты — Симеон Полоцкий и Карион Истомина.

Молодые восточнославянские поэты ещё в XVII веке интересовались европейскими трактатами, посвящёнными смерти. Студент богословского отделения Киево-Могилянской коллегии Викторин Евфанасий перевёл с английского на польский язык книгу Генри Монтегю, графа Манчестера «Размышления о смерти и бессмертии» (первое английское издание — 1631 г.). Необыкновенную популярность в Европе приобрела гравюра Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол».

Переведённый с немецкого памятник «Прения Живота со Смертью», содержащий диалог между жизнью и смертью, был распространён на Руси в XVI–XVII веках: его влияние заметно в виршах уже упоминавшихся придворных поэтов-просветителей Симеона Полоцкого и Кариона Истомина.

Слова «живот» (в старинном значении этого слова) и «жизнь» издавна считались синонимами. В устойчивых выражениях «не щадить живота», «лишиться живота» подразумевалась именно жизнь: её не щадили, её лишались. «Живот» одновременно и имущество — в служилой среде ценность не меньшая, чем жизнь, но всё же временная, «бренная». Смерть не столько отрицание жизни-животажития, сколько частный, хотя и важный, итоговый и завершающий момент в той протяжённости, которую наши предки именовали словом «живот». Живот — это жизнь конечная, земная, горькая и суетная. Жизнь есть жизнь бесконечная, вечная, небесная и блаженная. Именно поэтому умерших называли «усопшими». «Вечный живот» — прихотливый оксюморон, если иметь в виду,

что не живот вечен, а жизнь. «Краткая жизнь» — тоже оксюморон, поскольку в христианском значении жизнь — вечная. Барочная метафорика XVII века допускала подобную игру словами. К характерным мотивам европейской поэзии барокко принадлежит тема конца света, непрочности, шаткости бытия, острое ощущение текучести времени, его неудержимого бега. Интересно, что в отечественной молодой поэзии рубежа веков также возникает мотив конца света: читаем в стихах Анастасии Журавлёвой: *«Может быть, конец — это пункт приёма/ Макулатуры и металлолома?/ Стоишь, — в руках металлолом/ Макулатура,/ И приёмщица — сорокалетняя дура —/ Губы в помаде чёрного цвета,/ Читает буклет про конец света...»* Или в стихотворении Владимира Иванова «Про меня и про коня»: *«Иные подумали, что облака/ Похожи на лошадь и на седока,/ Другие решили, что это/ Конец начинается света».*

Пессимизм и рефлексия барокко были явлением новым, не свойственным ни Ренессансу, ни Средневековью. Не было уже возврата к гармонии «мира и человека», какой бы она ни была (античной, церковной или возрожденческой). Спор с привычными сегодня формулами ощутим и в современной молодой поэзии, вызывающе подчёркивающей парадоксальность и неоднозначность окружающего нас мира: *«А лукавое Слово на запах/ поспешает, на одурь и дым,/ ёжась в Божьих корежистых лапах,/ словно мрак — перед светом земным»* (Борис Кутенков).

Конфликты мира, пусть ещё абстрактные, проникли в душу, потрясли личность и даже стали осознаваться свойствами её природы. Размышления о смерти, по мнению отечественных поэтов как XVII века, так и современных, способны реально помочь нравственному самоусовершенствованию личности. Осознание неизбежности смерти закрепляет

в восприятии читателя понимание быстроты текущего времени и социально значимую мысль о его ценности. Не об этом ли печально-иронические стихи Бориса Кутенкова: *«...Посудачат о частном горе,/ выпьют, чокнувшись и скорбя,/ за любовь, за “тетенто тори”.../ Он — не чокаясь, за себя./ И, не вспомнив о том, что было,/ разойдутся за просто так:/ кто — себе вырывать могилу,/ кто — на скрипке играть в кабак./ Человек — умирать в потёмках/ с ненадёжной ордой стихов,/ где пиджак, на локтях протёртый,/ как дамоклова вечность, нов;/ Где звучащая тишь повисла,/ где и сам превратишься в звук,/ что от века искомей смысла,/ описавшего полукруг».*

Если в поэзии Золотого и Серебряного века смерть оставалась одной из главных тем (вспомним строки из популярных в конце XIX века стихов Зинаиды Гиппиус: *«И, если смерть придёт, за ней послушно/ Пойду в её безгорестную тень: —/ Так осенью, светло и равнодушно,/ На бледном небе умирает день...»* или: *«Мне лилии о смерти говорят,/ О времени, когда меня не станет.../ И, ведаю: любовь, как смерть, сильна./ Люби меня, когда меня не станет...»*, *«Любовь одна, как смерть одна...»*, *«Любовью, смерти неподвластной,/ Люблю всегда, люблю навек.../ Искал победы не напрасно/ Над смертью смелый человек...»*, *«Вы, сердца смертного создання,/ Сильнее своего творца...»*, *«Концу всегда, как смерти, сердце радо...»*), то из картины эмоциональной жизни советского общества, последовательно культивировавшего вызывающий оптимизм в официальной поэзии, смерть исчезает. Допускалось лишь героически погибнуть за идеалы революции или смертью храбрых на Великой Отечественной войне.

Смерть, ранее вездесущая и всем знакомая, стала постыдной и запретной. Делали вид, что её не существует. В основе этой тенденции лежало не столько стремление

пощадить чувства умирающего, сколько попытка общества избежать картины смерти, ибо считалось, что жизнь всегда счастлива и ничего не должно нарушать этой иллюзии: поэзия (вспомним «150 миллионов» Маяковского) славит человека массы, а масса — бессмертна. Смерть, сделавшись табу, с начала 30-х годов XX века заняла место рядом с сексом, табуированным в Средние века.

Характерно стихотворение Антона Черного из Вологды, направленное на развенчание дежурных оптимистических мифов о первом космонавте Юрии Гагарине (его жанр Максим Амелин определяет как «эффектную социальную страшилку не без захода в метафизику»): *«Стоит зелёное ведро./ В ведре лежит Гагарин:/ Орденосец и герой,/ Простой советский парень./ Его Леонов опознал/ По родинке на шее./ А там, где самолёт упал,/ Воронка и траншея./ Лежит ребро, скула и бровь,/ Как жуткие детали./ Обугленная грязь и кровь/ Стекают по эмали./ Не верится, что это он./ Одной рукой несомый,/ В какой кошмар он погружён?/ В какую невесомость?/ Солдаты ищут дотемна/ Ошмётки и останки./ Горит звезда, горит луна,/ Как орденские планки./ Настала полночь на часах,/ И мрак слегка сгустился/ в огромных чёрных небесах,/ С которых он спустился».*

В Средневековье смерть рассматривалась как переход в новое качество существования, освобождение от власти «мира сего». Боялись смерти второй, раскрытой в Апокалипсисе, — уничтожения личности на Страшном суде. Отсюда деловое, жизненное отношение к смерти. Такая позиция средневекового христианства противоречила возрождённому в советское время языческому принципу «о мёртвых либо хорошо, либо ничего», идущему от дохристианской Греции (известен закон Солона, запрещавший хулить умерших).

Нередко стихи молодых поэтов — сродни балладам, в которых дается оценка той или иной человеческой судьбы на

фоне большого исторического времени: это тайные мечты и неумолимая реальность, показанные через восприятие невезучего физика Вани, пережившего смерть жены, или нищей торговки Зины из стихов Бориса Кутенкова. Сталкивая жизнь и смерть на бытовом и духовном пространстве, поэт подводит итог: *«Будто и нет расстоянья меж высью и пропастью,/ будто не шаг до гибели — шатки мосты.../ ...Пыльно, блаженно, миндально./ Всё — замысел, промысел,/ солнечный замысел ужаса, счастья, беды».*

...Итак, молодые поэты не просто рассуждают и пишут о смерти: они задумались о смысле бытия, о самых важных и трудных проблемах, которые еще Зинаида Гиппиус считала центральными задачами серьёзной поэзии, напряжённо размышляющей о смерти, о любви, о Боге. Молодые поэты хотят понять, осмыслить, зачем они живут на этой Земле.